

Кондратьев В.

1985/11

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

23 января 1985 года

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ

«ТЫ ПРОШЕЛ СТОВЕРСТЫЙ ПУТЬ...»



1941 — 1945 гг.

Вячеслав
КОНДРАТЬЕВ
ПИСЬМО
ФРОНТОВОМУ
ДРУГУ
ПОМОГАЮ
Михаилу Георгиевичу
по Далекому Востоку
в боях за Ржев
и Энка-Абатский

Д ОРОГОЙ Михаил! Вот и наступил 1985 год — год сорокалетия нашей Победы.

Думали ли мы, гадали, что доживем до этой даты? Конечно, не думали. Особенно там, на войне. Но вот дожили... Честное слово, не верится даже. Все чаще и чаще вспоминаю нашу встречу в семидесяти втором, то есть ровно через сорок лет, почти через всю жизнь. А встретились-то, и будто не было их, этих лет, будто совсем недавно видел тебя, вышедшего из боя, окровавленного, побелевшего от потери крови и от всего того, что творилось на том ованскийском поле — твой взвод лежал еще под огнем, а моему уже была дана команда «Вперед!». Мы не успели ни о чем поговорить. По-моему, я помог тебе перевязаться и после этого подползнул — иди, мол, скорей в тыл, пока не добились, а ты глядел на меня как-то виновато, переминался с ноги на ногу... Я понимал, что тебе трудно уйти и оставить меня — ведь мы договорились, что в случае чего никогда не оставим друг друга на поле боя. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Вынесем! Там более после того, как — ты, конечно, помнишь — мы с тобой увидели на рассвете, как почти на середине «кнейтрали» очутился и поднялся раненый, не вынесенный после вчерашнего боя, сочтенный, видимо, убитым, и как почти нас, то падая, то поднимаясь, он добирался до исходного рубежа, то есть к нам. А мы все, жажда помочь ему, боялись вылезать на поле, потому как были уверены, что тогда они добьются его... Помню, как рвался наш ротный санитарный и как удерживал я его, но не удержал: когда раненый еле-еле все же добрался до наших позиций метров на сто и упал, выдать, потеряв уже сознание, — санитарный пробежал тяжкие сто метров и притаился на себе лейтенанта в маскхалате, с очень большой раной в бедре.

Да, я понимал, как трудно тебе было тогда оставлять меня, а я, радуясь, что ты остался жив, в то же время знал, что плохо мне будет без тебя, ведь перед тобой и Иваном Чебикова ранили, тоже из нашего, дальневосточного полка, с которым я в одном взводе в полковой школе был. И никого уже в роте из наших. Один лишь Саша Пахомов, но он был во второй роте... А ведь в бою лучше, когда рядом с тобой твои старые товарищи, с кем ты два с лишним года военную службу нес. Сам знаешь, бригада наша формировалась всего лишь месяц. Это потому, что в боях да в быту перемена (передовой позиции) — Ржев, — непереворотом нашлись новые товарищи, на которых полагаться можно, а в первые дни еще не раскрылись люди, мы еще не знали, как следует, что есть кто. К сожалению, у меня так получилось: только с кем сдружился, в одном шалаше заночуешь, полкотекашки раздаются, одну цистерку на двоих засмолить — а его через неделю-полторы либо убивают, либо ранят, и опять ты один... Страшно это и больно.

Кстати, не знаешь ты, как героически — другого слова, выжить, а не найду — вел себя наш санитарный? После первого ранения он не вышел из боя, а продолжал помогать остальным раненым, перевязывая их. И после второго — в ногу — тоже оставался в строю... А притаившись его после боя с семью пулевыми ранами. Помню, стащили с него гимнастерку, что перевязать, а на груди, на руках — черные дырки. К счастью, как потом говорил мне наш батальонный врач, когда я заходил к нему, бывая вызванным в штаб — все-таки выжил наш санитарный. Довезли его до санроты, там малость подлечили и отправили в тыловую госпиталь. Но вот жал, не помню его имени и фамилии. А может, жив и, прочтя эти строки, поймет, что это про него они?

Увы, не помню я и фамилии нашего военврача, хотя дружили с ним, но ведь все больше по званию обращались: «товарищ военврач» — и весь сказ. А как хочется, чтоб и он живой был, чтоб откликнулся. Много он мне хорошего сделал. Когда мы выехали из Бородинки, что под Малоярославцем, он взял к себе в вагон мою мать и Галию. Их-то ты помнишь, разузнаешь. Нет их уже. Был я сравнительно недавно в Бородинке, все вспоминаю...

Помнишь, как каждую ночь — тревоги, и каждую ночь, одетый в полном боевом, я прощался с матерью и с Галей, думая, что все, уже прощаемся на фронт и больше не вернемся. А фронт-то уж недалеко был тогда...

И так ночей пять-шесть подряд... Я уж, каюсь, бога молил, чтобы уйти по-настоящему, потому как прощания эти среди ночи измучили всех до предела, уж больше выдерживать было невозможно.

А помнишь ты, конечно, и нашего ротного, убитого в первом бою. Как обидно, что тоже не сохранил в памяти его фамилию, а он, помню, когда приехала мать в Бородинку, разрешил мне отделиться от взвода и жить с ней в отдельной избе. Приходило к нам несколько раз вечером, сидел грустный-грустный, а на прощание сказал:

— Счастливый ты, сержант, перед таким делом мать по-видимому. Многие тогда ребята приходили к нам в избу под всякими предлогами, чтоб поглядеть на мою мать. Наверно, им казалось, что это их мать, и хоть одним глазком они хотели взглянуть на нее. Ну, а ты приходил часто. Цела у меня и хранится твоя открытка из госпиталя, написанная моей матерью. Вот она:

«Здравствуй, тов. Кондратьев! С боевым приветом, друг Васьки сына Вячеслава — Михаил Помогает. Сообщаю Вам, что с 1.04.42 с Вячеславом я расстался, то есть меня ранило в руку, и я вышел с поля боя, а Вячеслав оставался там. После гибели командира Вячеслав принял командование роты на себя. Дальнейшую судьбу его я не могу Вам описать, так как сам не знаю, где он сейчас находится. Если он ранен и Вам сообщит адрес, то перешлите мне. Номинатора д-та Четина убило. Прощу Вас, Вы хотя бы не забываете, а то очень скучно, притом после такой кавальерии. Пока до свидания. Целую. Ваш знакомый Михаил».

В общем, ты тогда здорово успокоил мою мать...

прислали адрес другого Пахомова, который не воевал, а работал на Сорновском. Он, знаешь, что мне написали в ответе из адресного бюро, что восемнадцатых и двадцатых годов рождения из Пахомовых у них осталось только вот один этот Пахомов. На весь город Горький. Послал я запрос и на Чебакова. Ответили — нет такого.

В общем, из пятидесяти младших командиров, которые попали в нашу 132-ю стрелковую бригаду и кто был с нами под Ржевом, пока никого не разыскал, кроме тебя, хотя во всех своих ржевских вестях писал настоящие названия деревень — Усово, Овсянниково, Паново и Черное, где стоял штаб батальона. А никто не откликнулся. И фамилии многих забыл, но вот тех, кого помню и знаю точно, что погибли, — надо помянуть нам. Это Толя Кузнецов и Слава Полугов. Они погибли в первую ночь, когда немцы после нашего захлебнувшегося наступления поздно вечером открыли сильнейший минометный и артиллерийский огонь и по переднему краю, и по ближайшим тылам. Вот один из снарядов и угодил в сарай, где располагался на ночь рота Кузнецова. Это была третья рота, и находилась она в резерве, в Черное...

С РАЗИТЕЛЬНОЕ недавно мне звонил Яков Чернышевский. Ты, конечно, помнишь его по полковой школе. Со здоровьем у него было плохо, обещал, что после ранения. И сказал он мне, что я мало написал о нашей предвоенной службе, что лучшие воспоминания его юности — это Дальний Восток и наша армейская жизнь. А ведь доставалось. Помнишь? Особенно в полковой школе. И тревоги ночные, и марш-броски по сорок километров, и стрелковая подготовка, и тактическая подготовка до седьмого пота, и рытье окопов, и рукопашный... А вспоминается все действительно хорошо. Тогда до войны, закалила нас армия и физически, и морально. А вот многого мы тогда, к сожалению, не знали: не знали радиуса действия гитлеровских мин, не знали, что ночью фашистская передовая будет освещена ракетами, что, кроме проволочных заграждений, они обещают весь свой передний край консервными банками на проволоке, — задеешь, и сразу пулеметная очередь в это место. Многого мы, увы, тогда не знали и не умели. Пришлось все это на ходу осваивать, на перебежку. Но ведь, помнишь, уверенность в победе — нас всегда была огромная, и она не покидала нас даже в самые тяжелые моменты...

Кстати, тогда на Дальнем Востоке, еще до войны, мы чувствовали ее приближение, наверно, как-то яснее, чем люди на западе страны. Поэтому и служили как следует, выкладываясь на полную катушку. А в мае сорок первого, когда уже учились на курсах лейтенантов, запаса, предвещавшая скорое усиление — к сентябрю обещали отпустить, — появилась большая статья в нашей печати — «Миф о непобедимости немецкой армии». Вот тут-то мы и задумались, что вряд ли к сентябрю быть нам дома, что ждет нас, видите, другое, не такое радостное, а страшное и тяжелое дело. Помнишь разговоры в куртке после этой статьи?

Уж если вспоминать нашу военную службу, то необходимо вспомнить и старшего лейтенанта Широкова, заместителя начальника полковой школы по строевой части. Он был примером для подражания: всегда спокойный, выдержанный, интеллигентный, умирный. И во всех ночных зимних походах — вперед колонны в фуражечке и в хромовых сапожках, а морозы-то дальневосточные — будь здоров! — нам тоже не забыть. Мы с ним велись от усталости, а он все такой же ровный шаг держит, будто мы уже не отмахали тридцать километров. А лет ему тогда было не меньше тридцати, по нашим юношеским понятиям, чуть ли не старик. Помню, я нечаянно сжег у печки ботинок, и Широков подучил, что я это нарочно сделал, чтоб из полковой школы выгнали — ведь это на год сокращало срок службы. Так он мне сказал — до сих пор помню.

— Не бойтесь этого лишнего года, он вам будет нужен для всей дальнейшей жизни. Научитесь работать с людьми, командовать людьми — это не просто «раздавать», а именно работа, узнавание характеров, поиски подхода к человеку, интересный же дело... И, оно пригодится вам на всю жизнь.

Я, конечно, случайно сжег ботинок, но, честно говоря, служить три года не очень-то хотелось, лучше бы в роту рядовым и через два года — увольнением! Но тогда, после разговора с Широковым, я как-то понял, что, наверно, мне — московскому парню — действительно неплохо послужить в армии лишней годик. И, кстати, год командования отделиванием многое дал, и вроде любил меня и уважал ребята. Помню, как они провожали на фронт из Приморья, как каждый что-то подарил на дорогу — кто нож, кто шерстяные носки, кто бумагу для писем... В общем, и что мог. И прощались мы трогательно, даже обнимались...

Так вот, заговорил о Ржеве Чернышевский, а не договорил. Мы с ним после войны часто встречались, жил он в Москве сначала на Трифоновской, а потом совсем рядом со мной, на Божьей, но ни разу не рассказав мне ни одну историю... А вот год назад при встрече, когда выяснилось, что печальны мы после ранения с ним в городе Иваново в одно и то же время, только в разных госпиталях, — рассказал. Лежал с ним в палате майор. После ранения он получил ограничение второй степени, и направили его командовать курсами интендантов: надо было негодных для строевой службы после ранения офицеров перекалываливать для интендантской службы. И я предложил майору Яшке пойти к нему на эти курсы, взвешивая, или замол, уж не помню. Ну, понимаешь, тыл, война-то далеко, хватил уж Яшка горячего в пехоте, получил второй ранение, кажется, можно было и подумать, тем более сорок четвертый год пошел, война движется к концу. Подумал Яша — «хорошо, конечно, но как же война без меня?», — представь себя, отказался, вернулся в строй. Опять пошел в пехоту, где и был очень тяжело ранен в третий раз.

Понимаешь, когда мальчишки на фронт рвались — это было романтично и все такое прочее, но человек, уже испробовавший этого хлеба, уже дважды раненный, уже знающий, что вперед, отказывается от тыла — это не что иное, это настоящее понимание своего долга, жажда расплатиться с врагом до конца «А как же война без меня?» Вот это и было характерным для нашего поколения. Вот почему письмо мое к тебе, вроде бы личное, касающееся нас двоих, я решил опубликовать в «Литературной газете», потому что такие письма, может написать каждый из участников Отечественной войны. Это письмо не только о нас двоих, но и обо всех наших ребятах — и погибших, и живых. Перед погибшими у всех у нас — вина, которую Александр Твардовский в одном из стихотворений прекрасно выразил:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли в войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же я речу,
Что я их мог, но не сумел сберечь...
Речь не о том, но все же, все же, все же...

В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ годы, когда война опять нависла над нами, я разыскал в Москве Сашу Мовергоза. Ты должен помнить его: в полковой школе он был в моем взводе. Хотелось мне разузнать о дальнейшей судьбе нашей бригады, но тогда он не захотел мне рассказывать:

— И не спрашивай, ничего о Ржеве не хочу помнить! Правда, сказал лишь, что видел убитого Кирилла. Фамилии его я не помню, но его красивое лицо перед глазами. Он был призван тридцать восьмью года, тоже москвич. Вот и все, что знаю, но помню: всегда любовался его высокой атлетической фигурой, выправкой, его немного надменным, но приятным лицом... Да, какие ребята погибли...

Помыслить нам надобно и нашего полкового поэта Илью Лапшина. Вот его стихи сороковых годов:

Сидея сопки. Сосны. И дымок.
И степь бегущие товарные составы.
Сквозняк, товарищ, ты бы смог
Суровый Илья Хабаровский оставить?
На карте, глядя, много городов.
На карте, глядя, мало до границы.
За этот край ты должен быть готов
Идти в любое время битвы.
И это значит — бей и полагай
В далеком мишине на полигоне.
В поход иди. И гетер притыкий
Дальневосточный с полным разгона.
Чтоб защитить свою Москву, свой дом,
Заволы и железные дороги
Широкую гранату и колпик штыком,
И вскакивай ногами по тылому...

Он оставил суровый Хабаровский край, когда над его Москвой нависла угроза. Он, можно сказать, «выпросился» на фронт и в январе сорок второго уехал защищать столицу. Не его вина, что он лишь в эту пору попал на войну. Впрочем, «попал» не то слово — почти убежал на фронт. Напросился из запасного полка сопровождать ашелон на фронт, заместителем начальника ашелона по политчасти — и удрал... Ему предложили быть переводчиком при штабе (он окончил «Немецкую» школу, да и вообще этот язык знал с детства), но он отказался — пошел в пешую разведку и... был убит при форсировании Днепра. Осталось его последнее стихотворение, датированное сорок третьим, где он прочески писал о нашей будущей фронтовой тоске:

А может быть, мы, ветераны, будем
Дремать на солнце где-нибудь в Крыму,
Будь может, мы возьмем и позабудем
О годах, растворившихся в дыму?..
Но — так не будет! Слишком многим были
Дня нас года и бедствий войны.
Окрепля в них мальчишеские были,
Сгорели в них мальчишеские сны.

И мы — мы не забудем эти годы.

Как шрамы — их не вытравить ничем.

И мы народ особенной породы.

Мы будем жить и упиваться тем,

Как первую мы встали обшью,

Как немца первого убили мы.

И как ходили юнцами в бой мы

В компании прославленной зимы.

Мы будем вздрагивать и вскакивать ногами,
Мы будем с нежностью смотреть на котелок,
Облапывать дрожащими руками
Орудия заржавленного замком...

И будем нам необходимо надо
По-летописи сутками работать,
Полем мы с тараканами и Сталинградом,
Чтобы у Волги юность вспоминать.

И зашебечет жаворонки зенонка
Над полосой, когда до фронтовой...

И присидим мы молча у вороники,
Заросшей идилической травой.

..Да, все это осталось нам, живым, а Ильи нет, уже давно нет. Не достало ему «огромной жизни», о которой он писал в сороковых, не довелось ему и посидеть над воронкой, «заросшей идилической травой». Но он все это предсказал и звалел нам... Еще жива его мать, ей уже девяносто пять — он был ее единственным сыном. Осталось его письма, стихи. Правда, стихов немного. Да и откуда им взяться, если в двадцать три года он погиб... Поминем и его, Михаил Поминем! Мы не имеем права забывать ни о ком, кто остался навсегда на полях войны. Никогда! И тем более в преддверии сорокалетия нашей Великой Победы, доставшей нас бесконечно дорогой ценой жизни миллионов наших сверстников, наших товарищей, наших боевых друзей...

И ВОТ ЕЩЕ кого нам надо помнить всегда — наших матерей, которые ждали, бесконечно долго и терпеливо ждали наши треугольники, которые мучились, когда вестей с фронта не приходило. Помнишь об их счастье, когда мы вернулись живыми, и об их отчаянии и горе, которые не передашь словами: когда вместо знакомого треугольника приходила казенная бумага — пропащая пороком и кровью похоронка. И из них, матерей тех, кто воевал, увы, уже мало осталось в живых, но, к счастью, еще остались... И великая им благодарность, великая им и трепетная наша любовь до конца наших дней.

И еще, Миша... Ты ведь тоже прошел стоверстный путь от передовой до эвакуационного пункта, путь среди разоренных, полу-сожженных русских деревень. Ты шел зимой и, конечно, находишь уют и ночевку в этих избах, где наши русские женщины принимали тебя, кормили чем бог послал — а в фог тогда мало что посылал, — делились последней картошкой, последним куском хлеба. А сколько нас, раненых, прошло через каждую деревню — столько же и каждой ночью дома ночует чужие люди, грязные после передка, порой и вшивые, но пускани нас в избу. На помню, что хоти г одной деревне отжали в ночлеге, не накормили. Как же мы помнили нам этих деревенских женщин — матерей солдат, жен солдат, вдов солдат (многие уже были вдовами), не помнящих с благодарностью и нежностью! Как бы мы прошли тот путь — раненные, голодные, измученные, — если бы не они? Ищу на карте эти деревни, но на все учелся, да и названия некоторых позабыл, а ведь надо было бы давным-давно съездить, зайти в те избы, где в годы войны давали нам уют, и поблагодарить от души. Но нет, крутила нас жизнь, мотала, не до сантиментов вроде было, а сейчас вроде уже и поздно: не найдем никого, призывались... Но если полагается им это письмо в руки, пусть знают они, что мы не забыли их...

И вот еще кого надо вспомнить нам доброй памятью — девочек сороковых годов, сестричек, госпиталей и санбатовских, кто первыми нашла наши раны, кто помогал нам не только своими руками, которые промокли нам раны, делали уклады, а помогал всем своим девичьим обликком. Они в нашем восприятии связывались с и домом, и с нашими — оставленными девушками, которых мы любили. Да просто, как я говорил, уже одно то, что около тебя в беленьком, чистеньком халатике стоит девочка, глядит на тебя добро, с участием, с пониманием, — уже одно это помогало нам переносить боль, идти смело на операции и выздоравливать быстрее...

Да и на войне, когда встретишь девочек в военной форме, всегда как-то поддвигавшись, приобращаясь — раз уж девочки юноты, то нам-то сам бог велел. Помню, возвращался я из санроты на передовую после легкого ранения. Шли мы вдвоем, настроение, чистое, говоря, не очень: знаем уже, что нас ждет, грусим не грусим, но идем как-то напряженно, с нагудой. И вот видим, две девушки цветы собирают. Подосили, поздоровавшись... Время как раз к обеду, у нас в вешешках — сухари, консерваторы. Девочки картошки из деревни принесли, разложили костерки, печем картошку, варим пищуку. И так нам хорошо на душе стало, что встретились на пути эти военные девочки-связистки. Одна московской оказалась — значит, сразу о Москве разговоры, где же жил, на какой улице, в какой школе учились и тому подобное... Пошли, попили кипяточку, искурили по цигарке, распространились, пожелали они нам: «Удачи вам, мальчишки!» И пошли мы на передок уже совсем с другим настроением, оставили нас тяжелые мысли, как-то по-другому все стало видиться. Помню москвичку, Олей звали, на Малой Бронной жила, адрес записал и даже заходил после войны, но не нашел. Видно, неверно номер дома записал или истерлась та запись на листке бумаги, не разобрать номер. Но не стерлась из памяти та встреча.

А сколько их было на дорогах войны! Бывало, и любовь нам дарили эти девушки, дарили, ни на что не надеясь, зная, что если и живыми мы останемся, то все равно война разберет нас в разные стороны, не встретимся больше. А что это для нас тогда значило, и словами не передать. Несешь на гудыш поцелуй, и уже не так страшно умирать. И оплываешься эти девочки тогда для нас в образ Родины, дома, всего того, что шли защищать мы в тяжелых, кровопролитных боях...

Да, разумеется, «У войны — не женское лицо», как назвала свою потрясающую документальную повесть Светлана Алексиевич, но насколько труднее для нас была бы война, не встречая мы на ее дорогах милых и таких родных девушек в серых солдатских шинелях, вдохновлявших нас, поддерживавших наше мужество, даривших нам девичьи улыбки и теплые взгляды. Нет, не забыть нам этих девушек-сороковичек! Их подальше вышле нашего, потому что действительно у войны — не женское лицо, по-

тому что действительно женское естество, дающее жизнь роду человеческому, несовместимо с жестокостью и ужасом войны. Но девочки пошли на нее, и, что опять удивительно, уже будучи ранеными, уже познав кошмар боев, они все равно из госпиталей опять рвались на фронт, в строй...

ОТВЛЕКАЯ я, Миша, от нашей дороги на фронт. После ашелона был длинный Селижаровский тракт и трескотный марш. Шли ногами, и почти с самого начала пути впереди и справа маячили зарево, над передовой. Мы шли, как я потом выяснил, вдоль Волги, а за ней шли бои, они-то кровавили небо, и эти всполохи сопровождали нас всю дорогу... Страшно ли нам было? Признаться — страшно! Но когда наконец дошли и уже вблизи увидели «блестящую» передовую — вспыхивающую, красные точки транслирующей, услышали гул, а может, рок передовой, то появилось уже какое-то глупое любопытство, и уверен, а, что ежели повернули бы нас обратно, в тыл, то многие бы почувствовали какое-то разочарование.

Но все-таки было страшно. А ты помнишь первый труп на тропке в черновом лесу? Проводник, ведший нас на передовую, запросто перешагнул через него, а мы... Мы остановились, столпились, сзади направили те, что еще не видели, а потом стали обходить, царапаясь о кусты... А потом — полел! В преддверии дымке страшное поле боя, на котором серыми бугорками — убитые... Мы не могли считать их, но их было много, очень много, почти все поле... И тут страх сжал сердце. Знали же, что сегодня нам идти по этому полю и у нас нет никаких, абсолютно никаких шансов не разделить долю лежащих на поле. Но вот наступил этот час, и твой взвод пошел первым. И как пошел! Ни одного отстающего, цепью, с интервалами, как на ученье. Вроде фашисты не сразу открыли огонь, позволили пройти нам метров сто — это пятьдесят, а потом началось. Пулей, обстрел, минный, брызжущие, рущиеся над головами снаряды. Потом справа от вас пошел мой взвод. Еще правее — третий. Мы сравнялись с вами, но от твоего взвода уже осталось мало...

Однако грустновато получается у меня письмо, Миша, но ведь праздник Победы с «седьмидесяти висках». И он не только праздник, но и какое-то осмысление того, что совершила наша нация, какие неисчислимые жертвы понесла, и память об этом — священна. Мы не должны, да и не можем забыть тех дней, когда разорвалась тишина мира и хорошо обученная, вооруженная до зубов, жестокая, свирепая фашистская армия напала на нашу советскую землю. Мы должны свято помнить и гордиться тем сорок первого и сорок второго, так же, как и победные последние годы, когда гнали врага на запад, без сорок первого не было бы и сорок пятого!

Признаюсь тебе, трудно пишется это письмо, потому как прохладит перед глазами те годы — наша дальневосточная служба, и ашелонная дорога на запад, и первая бомбежка в Лихославле, и налет двух «мессеров» на наш ашелон, при котором первым и единственным убитым оказался женщина. Помнишь? Как будто это была антарктика на санях. И-то, что первой в нашей бригаде погибла женщина, было столь несчастным... По-моему, мы похоронили ее на следующей станции.

Страшная штука —память! Ты при встрече вспоминал, как бомбили на станции вытрузки, а у меня это совсем вылетело из головы. Как только после того, как ты сказал, надо было вспомнить, что Верно, бомбили, мы уже вытрузились и стояли, неверно, в полукилометре от станции. Ты вспоминал кул-старник в ованскийском овраге, а мне он помнится совершенно голым, только один воронкой, хотя я тоже, уже после боя, бежал по нему за остальными ротным телефоном. Уж не помню, почему его оставили на поле боя, то ли убитый телефонист, то ли сильно ранен, но метров двести пришлось на нем идти, ну и обратно тоже. А вот обстреляли меня или нет — не помню совсем.

А сейчас ованскийский овраг порос настоящим лесом. Я прошел по нему до самых бывших немецких позиций, когда приезжал в режиссером «Сашки» А. Суриным.

Это была вторая моя поездка. Первая — в шестьдесят первом, через девятнадцать лет, когда бывшая передовая показалась мне почти такой же, какой и была. Только воронкой больше. Тогда я и познакомился с семьей Разумкинских, единственной семьей, возвратившейся в родное Черное. Это была большая семья — два старика, две дочери и сын. Сейчас осталась лишь одна Антонина Петровна Разумкина, и живет она уже не в Черное (недавно сгорела дача дома), а в Усове, которое, как помнишь, стояло левее Овсянникова и которое беззастенчиво тоже брала наша 132-я стрелковая бригада... Вот все собираюсь съездить к Антонине Петровне, да никак не собираюсь. Но в дни сорокалетия обязательно съезжу. Немцы выслали их из Черного в деревню Сухохи, что рядом с Овсянниковым, и они видели все наши наступления, а когда вернулись — Черное-то не было, припущены копыта земляники. Это они поднимали ржевскую землю в сорок третьем году, когда поля поглотили, так как не было даже плугов, в которые можно было бы впрячься. Представляешь — поглотили Колхозные поля, где погата наткалась все время лизать на кости, ли-бо на металл... О судьбе этой семьи рассказать бы подробно, ведь она такой же участник войны, как и мы с тобой, хотя и не держали они в руках винтовок. Мария Петровна оставила мне перед смертью школьную тетрадку, в которой, как смогла, описала жизнь семьи и при немцах, и после освобождения. А сейчас никак Антонина Петровна старуху за дом не могут выплатить, не безобразия ли это? Написал я в сельсовет, не знаю, поможет ли? Может быть, прочтут эти строки в «ЛГ» и закончат наконец эту тяготину?..

..Да, Миша, трудно пишется это письмо, тяжело вспоминать те годы, но надо. Непременно надо, потому как память о войне — святая память. Святая и нетленная! Будем помнить всегда до конца наших дней о том, что совершил наш народ в той войне, не зря называемой Отечественной, когда судьба Родины действительно находилась в наших руках, о войне, которая принесла мир нам и всему человечеству.

На этом заканчиваю свое сумбурное, наверно, разбредившее тебе душу письмо, которое я рискнул печатать в «Литературной газете», и желаю тебе и всему твоему семейству всего доброго в наступившем 1985 году.

Твой Вячеслав КОНДРАТЬЕВ

МОСКВА, январь 1985 года

Рисунок В. ЛОСЕВА

